Дороже злата



Энид Торн

Дороже злата

«Автор»
2026

Торн Э.

Дороже злата / Э. Торн — «Автор», 2026

Меня зовут Эмилия Кларенс, я лечу прикосновением, и за каждое лечение плачу собой. Порез стоит мне ночи, чужая смерть может стоить жизни. Поэтому в Викштадте меня знают немногие, и я стараюсь, чтобы так и было дальше.В один вечер ко мне пожаловал приказчик ростовщика с больной рукой. Утром его нашли в переулке. Без крови, без ран. И на его теле остался след моей магии.Теперь по моему кварталу ходит королевский дознаватель Дориан Риз: упрямый, опасный и, что хуже всего, слышащий любую ложь. Мне нельзя ему врать. И нельзя сказать правду.Он уверен, что ищет убийцу.Я знаю, что он ищет меня.За моей спиной долг, оставшийся от родителей, и люди, которые десять лет назад отняли у них всё и не считают это преступлением. Чем ближе дознаватель подходит к правде, тем яснее я понимаю, что цена молчания — не только моя свобода, и что однажды придётся выбирать между человеческой жизнью и моей тайной.

© Торн Э., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Конец ознакомительного фрагмента. 10

Энид Торн
Дороже злата

Глава 1

Дождь зарядил затемно и шёл ровно, без злости, будто решил остаться до обеда. К семи он загнал весь квартал под навесы, а ко мне в сени всё равно набилось девять человек: двое сидели на перевёрнутом ящике, женщина в мокром платке стояла, привалившись к печи, мальчишка лет шести дышал мне в затылок так близко, что я чувствовала, как пахнет у него изо рта кислым.

Я открыла дверь в половине седьмого и, пока снимала с крюка фартук, пересчитала, что у меня есть: три горшка с мазью, два кувшина отвара, полная плошка медовой воды и полторы пригоршни сушёной коры, которой хватит до послезавтра. Девять человек. Считала я всегда быстрее, чем здоровалась.

— Кто успел, тот и первый, — сказала я. — Остальные не толпитесь, у меня не трактир.

Первым был мальчишка с ячменём на глазу. Пришёл без матери и врал, что она послала, а сам косился на полку, где за банкой с прошлогодним мёдом стояла жестянка с леденцами, и я выдавала их по одному за смелость. Я приложила примочку, тёплую, чтобы не вздрогнул от холода, велела не тереть и не лезть руками в грязь, и он кивал так старательно, что я сразу поняла: полезет.

— Не полезу, — сказал он.

— Полезешь, — сказала я. — Только тогда придёшь снова, и леденца не будет.

Он ушёл, крепко держа леденец в кулаке, чтобы не отобрали.

Второй была женщина с рассечённой ладонью: поскользнулась на мокрых камнях у чана. Кровь уже запеклась и смешалась с синькой, так что рана была синяя, как слива. Я промыла её, стянула, замотала чистой тряпицей и сказала неделю не носить тяжёлое, чего она, разумеется, не сделает: дома трое детей и муж.

— Дышать-то мне можно? — спросила она, недовольно глядя на перевязанную руку.

Дальше пошли кашель, чирьи, опухшее колено, детский жар, который я потрогала ладонью и не нашла в нём ничего дурного, — и очередь дошла до старика.

Он вошёл последним и встал у порога, потому что дальше было не пройти. Гуннар, красильщик, сорок лет провёл у чанов; от него пахло уксусом и мокрой шерстью, и дышал он так, будто внутри у него что-то поднималось и опускалось. Он держался за косяк двумя пальцами, и я видела черноту у него под ногтями, которую не отмыть ни мылом, ни песком.

— Мне бы от кашля, — сказал он. — Хоть что-нибудь, чтобы до зимы.

Он не просил чуда. Он просил отвар.

Я дала ему то, что оставалось: кору, мёд, ложку на ночь и ещё одну утром, и сказала то, что говорила всем: пар, отдых, вода, не стоять над горячим чаном. Он кивал, и голова у него шла вниз с задержкой, будто кивать ему было даже тяжелее, чем дышать.

— Без чана мне за угол нечем платить, — сказал он.

Мы оба это знали, и от этого легче не становилось.

— Дойду до зимы? — спросил он.

— Дойдёте, — сказала я.

Он ушёл, придерживая дверь плечом, чтобы не хлопнула, и я стояла с пустой плошкой в руках и смотрела ему в спину. Я могла бы забрать это из него целиком. Не часть, не хрип, не кашель — всё, до последнего, так, чтобы лёгкие у него стали как у мальчишки, который получил леденец. Отвар не стоит мне ничего. А это стоило бы недели, и эту неделю я пролежала

бы на своей постели, глядя в потолок и слушая, как в сенях топчутся те же девять человек, и старик пришёл бы снова, потому что за чаном он зарабатывает себе на жизнь.

Мне не было его жаль. Жалеть было некогда, да и жалеть — это стоять и ничего не делать. Я просто знала, что могу, и знала цену, и знание это висело на мне каждый день, как мокрая простыня, которую негде высушить.

Я вымыла руки в ледяной воде, пока не заломило до локтей, вытерла их о передник и взялась за следующего.

Дверь я закрыла только к полудню.

Дождь выдохся, и я вылила последнюю воду из таза, вытерла руки о передник и пошла через двор к Хедде, потому что у меня кончилась соль, а ещё потому, что с утра у меня во рту не было ни крошки.

У Хедды в сенях стоял пар, как в бане. Она стирала на весь квартал: в корыте кисло бельё, на печи булькало, на верёвке под навесом висели чужие рубахи, и сама Хедда, красная, с мокрыми до локтей руками, вылавливала из корыта простыню и выкручивала её так, что вода шла по полу.

— Садись, — сказала она, не оборачиваясь. — Там в углу горшок, я тебе оставила. И не говори, что не голодная, я тебя с шести утра слышу.

— Ты меня через двор слышишь?

— Я тебя через двор вижу. — Она шлёпнула простыню на край корыта. — Девять человек, и все с руками, с ногами, и всем что-то надо. А ты им ещё и хлеб выдаёшь.

Я села на табурет у стола, взяла ложку и обнаружила, что действительно голодная, так, что закружилась голова. В горшке была репа с луком, приправленная тем, что Хедда называла мясом, и я ела и слушала, как она рассказывает.

Рассказывать она умела. В её сенях я узнавала больше, чем в магистрате: у Крамера дочь родила, а муж третий месяц без работы; у чана на углу снова упал человек, но уже насмерть; прачка Грета поссорилась со свекровью и вылила на неё щёлок; Лемм прислал своего человека к сапожнику, и его человек стоял у двери, пока сапожник не отдал последнее.

— К сапожнику? — спросила я.

— К сапожнику, — сказала Хедда. — У него закладная на две комнаты, а он, дурак, ещё год назад взял у Лемма на кожу. И ты, — она ткнула в мою сторону мокрым пальцем, — туда же. Когда у тебя срок?

Я не хотела говорить. Я вообще никому об этом не говорила. Но в её сенях, среди чужого белья и пара, врать было как-то глупо.

— Через два месяца.

— Сколько?

Я полезла в карман и выложила на стол всё, что в нём нашла: несколько монет, две пуговицы, напёрсток и сухая корка, которую я туда сунула вчера и забыла. Посчитала в уме один раз, потом второй, чтобы удостовериться.

— Не хватает больше половины, — сказала я.

Хедда вытерла руки о передник, обошла стол и села напротив, и я поняла, что сейчас будет.

— Продай что-нибудь.

— Что?

— Ну что-нибудь! — Она обвела рукой мою сторону двора, как будто там стояло что-то, кроме мокрого дома с протекающей крышей. — Ты бабушкино барахло держишь, я знаю, что держишь. Брошку, кольцо, ещё что-то там было.

— Кольцо продала в позапрошлом году, — сказала я. — Брошку в прошлом. Мамино платье ещё раньше. В доме остались кровать, стол, три ложки и та миска, которую ты мне дала, когда я была маленькая.

— Миску не отдавай, — сказала Хедда твёрдо. — Миска хорошая.

— Не отдам, — согласилась я.

Она помолчала, подперев голову мокрым кулаком, и посмотрела на меня так, как смотрят на больного, которому не хотят говорить правду.

— Иди к нему, — сказала она. — Попроси ещё полгода. Он даст, ему невыгодно тебя разорять раньше срока: с тебя и взять-то сейчас нечего.

— Даст, — сказала я. — И вычтет за это вдвое.

— Так иди и торгуйся!

— Я иду. — Я ссыпала обратно в карман монеты, пуговицы и напёрсток. — В четверг.

Хедда встала, вытерла руки, сняла с гвоздя мой передник, который я оставила у неё в прошлый раз, и подала его мне так, будто делала одолжение. Я надела передник, взяла соль, поблагодарила за репу и пошла к двери.

А в кармане у меня что-то стукнуло о пуговицы, и когда я вышла за порог, я сунула туда руку и нащупала монету, большую и тёплую, которой там точно не было.

Я не обернулась. Я знала, что она стоит в сенях и смотрит мне в спину, сложив мокрые руки на груди, и ждёт, и что если я обернусь, то придётся сказать спасибо, а если скажу спасибо, то расплачусь, а плакать во дворе, где меня видят из девяти окон, я себе позволить не могла.

Я сделала вид, что ничего не заметила, и пошла домой.

К вечеру дождь вернулся, злой и косой, и застучал по крыше так, что в доме стало слышно только его. Я растопила печь, поставила вариться кору, села чинить передник и обнаружила, что рука, которой я утром держала иссечённую ладонь, ноет от кисти до локтя. Видимо, случайно использовала силу, решила я. К утру пройдёт.

Когда я уже собиралась спать, в дверь постучали.

Я не сразу открыла. Сначала посмотрела в щель ставни: на крыльце стоял человек в мокром до нитки камзоле, без шапки, волосы прилипли ко лбу, и он прижимал к груди правую руку, как прижимают ребёнка. Я узнала его раньше, чем разглядела лицо. Приказчик Лемма Матиас, тот самый, что сидел за конторкой, когда я носила проценты, и говорил «подождите, госпожа Кларенс, у господина Лемма посетитель».

Я открыла дверь на ширину ладони.

— У меня закрыто.

— Я знаю, — сказал он. — Мне бы лекаря.

— Лекарь в двух улицах, за мостом. Там берут дороже, но там и шьют.

— Я был, — сказал он. — Он сказал, что руку надо резать. — Он поднял глаза, и я увидела, что они у него красные, а ресницы мокрые не только от дождя. — Мне двадцать шесть. Мне без руки нельзя.

Дождь хлестал по его плечам, и я стояла и думала о том, что этот человек служит у Лемма, и что через два месяца Лемм выставит меня из дома, и что если я сейчас закрою дверь, то буду спать крепче.

— Заходите, — сказала я.

В доме он сразу стал занимать слишком много места. С него текло, он извинялся за воду на полу и всё это время держал руку у груди. Я посадила его под лампой и велела размотать.

Он размотал. Тряпка была не грязная, а окаменевшая, и когда она отошла, в доме запахло так, что я на секунду отвернулась к печи. Рана шла от кисти до середины предплечья, длинная, с рваными краями, и в глубине её уже не было крови, было другое. Месяц, не меньше. И он месяц ходил с этим, заматывал, работал, спал.

— Почему вы не пришли раньше? — спросила я.

— Думал, заживёт.

— Все так думают, — сказала я и взяла его руку.

Я не люблю это делать при людях. В этот раз я сделала иначе: села напротив, взяла его руку в свои, как берут чужую вещь, которую надо починить, и закрыла глаза.

Боль вошла в меня так, как входит холодная вода в сапог: сразу, до кости. Меня повело, я ухватилась за край стола, и в правой руке у меня заныло от кисти до локтя, а потом тяжело, тянуще заворочалось в животе, и я стиснула зубы, чтобы не выдохнуть вслух.

— Госпожа Кларенс?

— Сидите, — сказала я.

Это длилось недолго. Когда я открыла глаза, края раны были розовые, как у только что порезавшегося, и Матиас смотрел на свою руку так, будто она была не его.

— Она... — Он сглотнул. — Она же болела.

— Теперь нет. — Я встала, и пол качнулся, но я уже умела ходить по качающемуся полу. — Промыть, перевязать чистой тряпкой, менять каждый день. Не работать этой рукой неделю. И если вы снова запустите, я вас выгоню.

Он кивал. Потом посмотрел на меня внимательнее, чем мне хотелось.

— Вы побледнели.

— Это от запаха, — сказала я. — Не переношу запах гноя.

Он не стал спорить, но и не поверил. Я дала ему отвар и ложку, сказала выпить всё, и пока он пил, у него начали стучать зубы, сначала чуть-чуть, потом сильнее. Так бывает: тело понимает, что боль ушла, и отпускает себя.

— Вам куда идти? — спросила я.

— К Лемму. У меня комната над конторой.

Я посмотрела на дождь за окном, на его рубаху, на его лицо, с которого уже сошла краска, и вздохнула так, что он услышал.

— У печи тюфяк. Ложитесь. Утром пойдёте, и никто не узнает, что вы ночевали у должницы вашего хозяина.

Он открыл рот, чтобы что-то сказать, и закрыл.

Я постелила ему у печи, дала старую наволочку вместо подушки, отдала свою шаль на ноги, потушила лампу и легла у себя за занавеской. Рука ныла. В животе тянуло. За стеной дождь шёл так, как будто ему платили за это, в доме стало тепло от двух человек, и это тепло я не любила больше всего, потому что к нему слишком легко привыкнуть.

Ночью я слышала, как он ворочается, и как раз-другой у него стучат зубы, и как он потом затихает. Своей рукой я не чувствовала почти ничего, если не считать того, что она всё ещё была словно чужая.

Я не спала. Я лежала и слушала, как он дышит, и считала, сколько мне будет стоить, если он останется до утра и расскажет в конторе, что ночевал у меня. Считать я умела, но с некоторых пор счёт перестал сходиться.

— Госпожа Кларенс, — позвал он из темноты.

— Что.

— Вы не спите?

— Нет.

— И я нет. — Я услышала, как он повернулся на тюфяке. — Я вам не сказал спасибо.

— Скажете утром.

— Утром я буду уже другой человек. Утром я опять приказчик. — Он сказал это без горечи, просто и точно, как говорят о погоде. — А сейчас я просто говорю спасибо.

Мне стало неудобно, и я ничего не ответила.

— У вас тут тихо, — сказал он через минуту. — У нас над конторой всю ночь слышно, как хлопают двери. И люди ходят. Не воры, не подумайте, у господина Лемма не бывает воров. Так, люди.

Я приподнялась на локте.

— Какие люди?

— Разные. — Он помолчал. — Я на них не смотрю. Мне платят, чтобы я не смотрел, я и не смотрю. Но раз в месяц, а то и чаще приезжает один человек не из нашего города, в плаще, и они с господином Леммом сидят до утра, и после этого у нас три дня пахнет жжёной бумагой.

Я лежала и слушала, как в темноте что-то становится на место, к которому раньше не подходило.

— А бумаги, — спросила я, — старые, про красильни, они тоже там?

Он не ответил сразу. И это молчание было громче ответа.

— У вас чайник на печи, — сказал он совсем другим голосом. — Мне бы ещё горячего.

Я встала, налила ему в кружку отвара и села на табурет. В печи ещё тлели угли, и от их света у него на лице было видно скулы и то, как он сжал челюсть.

— Вы что-то знаете про мою фабрику, — сказала я.

— Я ничего не говорил.

— Вы и не сказали. Вы просто перестали говорить.

Он выпил отвар до конца, поставил кружку на пол и лёг обратно.

— Госпожа Кларенс, — сказал он, — у меня в этом городе только две вещи: комната и место в конторе. Если я потеряю место, я не удержу комнату, а кто я без места, вы сами знаете. — Он вздохнул. — И всё равно я вам чем-нибудь постараюсь помочь. Не потому, что я храбрый. Потому что я не могу больше смотреть на себя со стороны.

Больше он не сказал ничего. Я тоже.

На рассвете дождь стих, и в доме стало серо. Матиас встал, сложил шаль, свернул её так аккуратно, как складывают чужое, и натянул свои мокрые сапоги. Рука у него уже двигалась. Он смотрел на неё, шевеля пальцами, как ребёнок, которому вернули отобранную вещь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.